

Λ 12572
AA 14004

БЫЛОЕ

Бор-

№ 18

1921

„БЫЛОЕ“ — книга 16-ая.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. *Две дорожке тени.* Из воспоминаний о Г. В. Плеханове и М. А. Натансоне, как семидесятниках. **О. В. Аптеман** 3
2. *Уфимское Государственное Совещание 1918 года.* Из воспоминаний участника. **В. Л. Утгофа** 15
3. *Мои встречи с С. Л. Перовской.* Отрывки из воспоминаний **Е. Н. Ковальской** 42
4. *Семейные воспоминания о Степане Халтурине.* **И. Халтурина** 49
5. *Псковский централ.* Из воспоминаний политического каторжанина **И. Генкина** 56
6. *Русская революционная эмиграция. Записка Я. В. Стефановича,* со вступ. заметкой **Ф. Понровского** 75
7. *М. И. Гурович — „Харьковцев“.* Из воспоминаний **Л. Клейнборта** 86
8. *С.-Петербургское Охранное Отделение в 1895—1901 и „Труд“ чиновника отделения П. Статковского* ... 108
9. *В годы юности. (За культуру).* Отрывок второй. После студенчества.—Наше братство. **И. М. Гревса**. 137
10. *К истории первого мая.* Историческая справка. Проф. **В. В. Святловского**. 167
11. *Первое преступление М. Горького.* Из очерков по архивным материалам **Б. И. Николаевского**. С примечаниями **М. Горького** 174
12. *Из летописей Шлиссельбургской крепости. I-II.* **П. Е. Щеголева** 187
13. *К характеристике Я. В. Стефановича* (письмо в редакцию). **Н. С. Тютчева** 201

БЫЛОЕ

№ 16

1921

Дом Писателя

№ 120

Две дорогие тени.

(Из воспоминаний о Г. В. Плеханове и М. А. Натансоне, как семидесятниках).

I. Георгий Валентинович Плеханов.

Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и то же изображение. Другие—похожи на медали, выбиваемые только для данного случая.

Гофман.

Он был самый молодой среди нас. Но уже и тогда он выделялся своей эрудицией, гибким острым умом, живым, с огоньком, словом. За это последнее мы его прозвали „оратором“. Под этой же кличкой он выступил 6-го декабря 1876 года во время „Казанской демонстрации“. Познакомился я с ним в первый раз в 1875 году, в Петербурге. Как то встречаю на улице гимназического своего товарища, Успенского. Зовет к себе, с ним сейчас живет интересный юноша, студент Горного Института. Ладно!—ответил я. Действительно, интересный юноша. Типичный по внешности студент. Среднего роста, стройный, небольшая, темнорусая, лопатой, бородка, каштанового цвета волосы на голове, мягкими прядями падающие назад, белый, как мрамор, высокий лоб, карие, слегка миндалевидные глаза. Лицо в общем приятное, оригинальное. Особенно—живые, острые, порою насмешливые глаза. Разговорились. Как водится, подняли спор. Не помню сейчас всех подробностей нашего спора, но фигурировала здесь,—и это я помню хорошо,—статья Михайловского „О счастье“. И опять прекрасное впечатление. Что то *свое*, вызывающее, горячее. Чувется талант, способность к самостоятельному мышлению. Чувствуется темперамент. Славный юноша. Повидимому, много работает по своей специальности: комната вся уставлена химическими снарядами, ретортами, колбами, банками и прочими химическими принадлежностями. На полках и на столе книги. Много книг. И не только по естествознанию, но и общеобразовательных, серьезных книг много. Очевидно, читает много. Встретились мы опять, но уже как товарищи по „Земле и Воле“, в Саратове, где в 1877 году осела большая колония землевольцев для организации деревенских поселений в губернии. Это было наше ближайшее задание от нашего „центра“ в Петербурге. „Жорж“ (Плеханов) остался в г. Саратове и выступал в кружках молодежи и рабочих.

И очень удачно. Рабочие были прямо в восхищении от него, высоко ценили, гордились им. По моей просьбе Плеханов написал основные положения народничества. Надо было перелать в один кружок местной молодежи. В один присест написал программу—быстро, листки так и летели, писал на-бело. Написано ясно, сжато, выразительно.

Вот эту то программу Плеханов пропагандировал рабочим и молодежи. Молодежь он также быстро завоевывал, но порою также скоро и терял. Завоевал своей эрудицией, даром слова, темпераментом. Терял же благодаря своему задору, своей своеобразной полемике, — этому жалу, которым он тогда уже умел чувствительно ранить своего противника. Уже тогда он был не в меру резок и нетерпим. В Саратове он все порывался в деревню, „в народ“. Но обстоятельства так неблагоприятно складывались для него, что все попытки его в этом направлении терпели неудачу. Но раз улыбнулась было ему перспектива удачи: в Аткарском уезде (Саратовской губ.) открылась вакансия народного учителя. Место для Плеханова подходящее. Но он был уже тогда нелегальным, подходящего документа по Мин. Нар. Просв. у нас тогда не было, да и подвергать новому риску нашего „оратора“, недавно только вырванного из когтей правительственных ищеек, мы, само собою, допустить не могли. Тут то выручил нас наш „Дворник“, т. е. Александр Михайлов. Он предложил Плеханову воспользоваться его, если не ошибаюсь, гимназическим аттестатом, тогда еще „чистым“ в политическом отношении. Сказано—сделано. Плеханов отправляется с этим документом и прошением в Аткарск, в училищный совет. Председатель училищного совета, приняв прошение Плеханова, попросил его подождать ответа в приемной. В это время случился курьез, который, если бы Плеханов не владел собою, мог бы окончиться печально. Дело вот в чем. Священник, член училищного совета, ознакомившись с бумагами Плеханова, заорал во все горло: „Да он сын Дмитрия Михайлова, моего большого приятеля.. как же! Дмитрий Михайлов мой большой приятель.. почтенный человек.“ Восхищенный своим открытием, он выскочил в приемную с криком: — „Михайлов! Михайлов, где же тут Михайлов?“ „Оратор“ спокойно отозвался: Я — Михайлов. Батюшка удивился: как он вырос, „молодцом стал“, он, „батюшка“, помнит де его еще мальчиком, — и с неподдельным живым интересом стал спрашивать его о родителях, общих знакомых и прочих прочих курских делах!.. — „Ладно, ладно, молодой человек, — воскликнул экспансивный „батюшка“, получив от Плеханова все нужные ему сведения, — буду за вас хлопотать!.. „И ринулся в училищный совет. К сожалению, хлопоты благожелательного „батюшки“ не увенчались успехом. Все уверения его, что Михайлов — отец „прекрасный человек“ и „лучший его приятель“ разбились об упорство исправника, твердившего одно: „ну, так что же что знакомый, что хороший человек? Отец то хорош, а сын, может быть, и пропагандист.. „И уперся исправник, как бык: — „несогласен и несогласен..!“

Так и уехал Плеханов из Аткарска ни с чем. И снова взялся он за свою прерванную работу среди молодежи и рабочих. Плеханов был сильно огорчен этой неудачей, но я, наоборот, торжествовал. Я был решительно против поселения Плеханова в деревне. Я говорил: деревня не его стихия. Он бы только завял там. Его арена — город, с его широкими общественными запросами, с его умственным движением. Да и в самом Саратове он был незаменим. В Саратове уже в то время были кружки учащейся молодежи и зарождались уже группы среди

рабочих. Стало быть, почву под ногами имел в Саратове Плеханов, — значит ему работы не занимать стать. Но случился провал всей нашей группы в Саратове. И Плеханов, как и многие другие, бежал в Петербург. Здесь то он стал развертываться и выпрямился во весь рост во всем блеске творческих сил: и как пропагандист—агитатор среди молодежи и рабочих, и как литератор. Зимой 1877 года, под влиянием „Казанской демонстрации“, продолжавшей еще тревожить молодежь, а, главным образом, под влиянием неокончившегося еще тогда, „процесса 193-х“, выстрела В. Засулич—молодежь сильно волновалась.

Наш «центр» решил использовать это волнение. Вести агитацию среди молодежи поручено было Плеханову, Попову, Преображенскому и пишущему эти строки. Собирали молодежь и развертывали перед ней ужасающую картину жестокостей, практикуемых правительством по отношению к политическим. Звали ее открыто высказать свой протест подачей адреса на имя министра юстиции Палена. Адрес был написан Плехановым, напечатан в нашей „вольной типографии“ и энергично пущен в обращение среди молодежи. Адрес написан сильно. И если бы мы не тянули долго нашей агитации, демонстрация удалась бы. Возбуждение нарастало, но, к сожалению, мы упустили благоприятный момент, момент наибольшего подъема—и демонстрация не удалась. С небольшими же силами, которые готовы были идти за нами, мы не решились двинуться. Но наша работа среди молодежи всетаки не пропала: за нашей агитацией последовало организационное строительство; образовывались группы народнического направления, притекали к нам новые и новые силы, образуя резерв, неприкосновенный до поры до времени капитал: придет время—мы его пустим в обращение.

Я был тогда неразлучен с Плехановым. Мы ютились у студентов, то у одних, то у других,—своего угла не имели. Это нас, впрочем, не особенно тяготило: мы как-то умудрялись, сидя по углам, работать. Плеханов тогда много читал и с большим выбором. Феноменальная у него была память. Он не нуждался ни в заметках, ни в извлечениях. Нужна ему какаянибудь справка, он подходит к полке, берет нужную ему книгу, раскрывает ее на той именно странице, где нужная справка имеется. И замечательно—память его с годами вичуть не ослабевала. Немудрено, что работа его отличалась такой высокой производительностью. Я никогда не видел его праздным, мечтающим, в состоянии *dolce far niente*. Не любил он пустых разговоров, не выносил он фразы, красивых жестов. Беседовать—значило для него мыслить вслух, сообщая, причем эта беседа была обворожительна, как по содержанию, так и по форме. Сколько чудных таких разговоров, с глазу на глаз, переживал я с ним! Сколько оригинальных мыслей, мягких сопоставлений, порою проникнутых неподражаемым юмором, высказывал он! Помню—это было в начале 1879 года—появились статьи А. Ефименко „Трудовое начало в воззрениях народа“. (Точно заглавия не помню).—Мне они, эти статьи, очень понравились, я предложил их Плеханову для прочтения. Плеханов прочел их и, к изумлению моему, не пришел в такой восторг, как я.

„Почему Осип,—обратился он ко мне с насмешливым огоньком в глазах,—так увлекли тебя эти статьи? Слова нет, кое что интересное есть в них, но основная их мысль—трудовое начало—не социалистический принцип, а типично буржуазный. Трудовое начало—уже результат начавшегося распада первобытного коммунизма, когда эко-

номическое расчленение в общине пошло уже далеко. Раньше не трудовое начало регулировало взаимные отношения в общине, а *коллективизм*, если хочешь *коллективное* трудовое начало, а не *индивидуальное*. Наш идеал, как окончательный *синтез* социально-экономического процесса, именно *коллективизм*. К нему нас зовет научный социализм, к нему мы должны апеллировать каждый раз при оценке удельного веса того или другого факта в области теоретического знания". Признаюсь, я был поражен этой совершенно неожиданной для меня аргументацией Плеханова, своеобразной способностью его вскрывать *Pudelskern* всякого сложного вопроса. Богато одаренная натура, Плеханов не мог, само собою, удовлетвориться исключительно *познавательной*, идейной работой: натура боевая, он страстно искал *практической* деятельности, арены, трибуны... И в *агитации* он развернулся и вырос. А наша тогдашняя русская действительность давала ему для этого достаточно стимулов: взрыв на Васильеостровском патронном заводе (1877 г.), ряд рабочих стачек в Петербурге в 1878—79 годах. Не один, конечно, Плеханов работал тут: агитировали с ним и М. Попов и Тютчев, и молодежь, примкнувшая уже к нашему обществу. Но справедливость требует сказать, что *первую* скрипку всегда играл Плеханов.

Агитация его среди рабочих описана им самим просто и правдиво в его „Русском Рабочем в революционном движении“.

Весною 1879 г. Плеханов и я читали лекции петербургским рабочим по русской истории. Вступительную лекцию прочел Плеханов. Тема—русские народные движения: бунты Разина, Пугачева и Белавина.

Лекция построена была красиво и прочтена была с большим подъемом. К сожалению, „вихрь злобы и бешенства“ ураганом понесся по нашей безответной родине, особенно после 2-го апреля, и разметал все наши начинания: массовые аресты и высылки, разгромлен „Северно-русский рабочий союз“, разгромлена и наша рабочая конспиративная квартира. Мы едва спаслись. Лекции прекращены. Плеханов уехал на Дон, где вел энергичную пропаганду среди казаков и распространял среди них „Воззвание к Славному Войску Донскому“. Если не ошибаюсь, воззвание это было написано самим Плехановым, а напечатано в нашей подпольной типографии.

Этим исчерпывается все то, что я знаю о пропагандистской и агитационной работе Плеханова.

В 1878 году мы видим уже Плеханова в рядах редакции „Земли и Воли“. Ему принадлежат две руководящие статьи в №№ 3 и 4 под заглавием: „Закон экономического развития и задачи социализма в России“. В этих двух статьях центрального землевольческого органа Плеханов уже готов, как литератор, с определенной яркой писательской индивидуальностью. Это, по моему, лучшее, самое содержательное, что было написано в подполье по вопросу о революционном народничестве. Статьи его в „Черном Переделе“ представляют лишь дальнейшее развитие основных предпосылок названных статей в „Земле и Воле“. „Диалектическое мышление“—дает уже себя чувствовать.

„Тощее“, но содержательное красноречие,—в противоположность „жирному“ большинства подпольных изданий. Плеханов—готов, окристаллизовался, как законченная духовная личность. Жизнь, работа мысли обогатят его ум знанием, но ничего не прибавят к особенно-

стям его духовной организации: его своеобразный познавательный аппарат, с его своеобразными приемами познания, усвоения и диалектики, был уже тогда, когда он был землевольцем и чернопередельцем, совершенно готов.

Я мог бы, оставаясь близким к истине, дать такую характеристику духовной индивидуальности Плеханова: по *познавательным* своим склонностям он — исследователь, ученый, философ; по темпераменту — публицист, воин, трибун. Создаваемые им — самостоятельно или несамостоятельно, все равно — ценности становятся интегральной частью его духовного бытия, сплавляются с его духовной личностью, а потому становятся для него не только объективной, но и субъективной ценностью, за целостность и сохранность которых он готов душу положить. И будет он те ценности оборонять от врагов своих всеми мерами *sans trêve ni merci*. Таков уже был Плеханов в юные и молодые годы, таким остался он и в зрелые. Не знает он половинчатыми в сфере познания, чужд и отвратителен ему всякий эклектизм: чиста от всякой подмеси, от всякой шелухи должна быть всякая познавательная ценность. И не выносит он умственных компромиссов, а потому так суров, жесток он ко всякой теоретической мешанине, беспощаден в своей полемике к виляниям, вроде „с одной стороны нельзя не сознаться, но с другой стороны — должно признаться“. И потому то Плеханов так непримиримо, зло, саркастически борется с товарищами по редакции „Земли и Воли“, а затем с товарищами — землевольцами на Воронежском съезде, на котором он оказался таким одиноким, чуждым, что вышел из партии, когда убедился, что товарищи его свернули старое знамя, — не свернули, а только пока спустили. Так же страстно впоследствии боролся он с народничеством и с субъективной философией в социологии, с одной стороны, и бернштейнианством и ревизионизмом — с другой. Можно возставать против некоторых специфических приемов его полемики, но нельзя отрицать его глубоко честной мысли, его несокрушимого убеждения в истинности своей идеологии. Он может с правом сказать: *hier stehe ich und nicht anders* — на этом стою я и не могу иначе...

В 1879 году Плеханов *первые* выступает в *легальной* литературе: он помещает статью в народническом журнале „Устой“, редактируемом известным беллетристом — народником Златовратским (ныне покойным). К большому сожалению, я никак не могу припомнить заглавия его статьи. Помню только, что она была написана по поводу на шумевшего тогда в литературном мире „Сборника статистических сведений по Московской губернии“ Орлова.

Статья Плеханова так понравилась Златовратскому, что последний предложил „начинающему“ только писателю стать постоянным сотрудником журнала.

II. Марк Андреевич Натансон.

В августе 1919 года телеграф принес печальную весть из-за границы о кончине М. А. Натансона. Ушел от нас навсегда один из самых ярких и выдающихся представителей революционного движения семидесятих годов, — человек огромной энергии, железной воли и крупных организаторских способностей, всю долгую жизнь свою —

с юношеских годов до глубокой старости—отдававший делу революционной борьбы за народное освобождение. Не сломали его тюрьма и ссылка, ссылка и тюрьма, изгнание, а свалил его медленно подкрадывавшийся к нему злой недуг. Около 5 лет тяжело болел Натансон, нередко он неделями, в мучительных страданиях, был прикован к постели. Но, изнемогающий и страдающий, он не сходит с своего боевого поста: как представитель заграничного центрального комитета партии эсеров, он с неустанной энергией направляет товарищей эмигрантов и в то же время зорко следит за работой других социалистических партий как русских, так и западно-европейских.

В Лозанне, где Натансон жил последние 4 года, до возвращения в Россию, дом его служил центром тяготения для многочисленных эмигрантов различных направлений и фракций. И это всегда было так, куда бы судьба ни забрасывала Натансона. И в почти перманентной ссылке, и в сравнительно короткие промежутки на воле, он всегда являлся центральной фигурой, вокруг которой группировались, спланивались, организовались революционные и оппозиционные элементы.

Связи были у него обширные, прочные, влияние его было неотразимо. Он—прирожденный организатор. Недаром прозвали его „собирателем русской земли“, а в Лозанне—„королем Лозанны,“—не в шутку, а в серьез. В Лозанне, в кабинете Натансона, я впервые увидел две фотографические карточки, приковавшие мое внимание, одна небольшая, другая—кабинетная. Первая представляет собою чудного юношу с высоко поднятой головой и сверкающими вдохновенными глазами, обращенными вдаль. Орленок, собирающийся расправить свои крылья. Вторая карточка изображает белого, как дунь, старика, с большой окладистой седой бородой, с высоким лбом и сурово сдвинутыми бровями, с загадочной несколько улыбкой—не то горечи, не то недоверия и презрения. То—Натансон—юноша и Натансон—глубокий старик, орленок и орел, но—увы!—с подбитыми уже крыльями...

Родился Натансон в Вильне, в зажиточной интеллигентной еврейской семье, в 1849 году. Родители обожали своего недожиданного, даровитого „Макса“. Воспитанный на литературе 60-х годов, страстный поклонник Чернышевского и Добролюбова, он дал клятву всю свою жизнь следовать великим заветам своих учителей. 19 лет от роду, в 1869 году, поступает в Медико-хирургическую Академию. И сразу становится центральной фигурой, как лидер студенческих движений и как организатор всяческих студенческих учреждений. По его инициативе и при ближайшем деятельном участии устраивается студенческая библиотека, сыгравшая впоследствии громадную культурно-революционную роль в жизни „медиков“.

В то же время он выступил публично на сходках, с резкой, горячей, непримиримой филиппикой против Нечаева и „нечаевщины“. Успех имел большой: „нечаевщина“ была отвергнута учащейся молодежью.

Как лично Натансон передал мне, Нечаев не замедлил отомстить ему: он посылает из Швейцарии с сторонницей своей Александровской транспорт с прокламациями с адресами лиц, кому они предназначались; на некоторых было написано: „передать Натансону“. При обыске у Александровской в Вержболове прокламации эти были найдены. Затем был обыск у Натансона и, хотя у него ничего предо-

судительного не найдено, он был арестован и привлечен к дознанию по делу Нечаева. Руководил дознанием сенатор Чемадуров. Натансон—юноша с негодованием отметаёт от себя какую бы то ни было солидарность с Нечаевым и его революционной деятельностью, клеймит ее убежденно, страстно и смело бросает обвинение Нечаеву в том, что он нарочито прислал на его имя прокламации, чтобы набросить на него, Натансона, подозрение в соучастии его в делах Нечаева, что продиктовано это чувством мести за решительное противодействие, оппозицию, которые неустанно Натансон вел против Нечаева. Натансон был освобожден без всякой ответственности.

В это время в Петербурге образовался небольшой *женский кружок* из 3-х сестер Корниловых, Батюшковых, Ольги Шлейснер и С. Перовской. Этот скромный женский кружок становится вскоре ядром, вокруг которого постепенно кристаллизуются лучшие революционные элементы тогдашней молодежи. Мы видим там Чайковского, Натансона, Кравчинского, П. Крапоткина, Л. Шишко, Лермонтова, Сердюкова, Лизогуба, Чарушина и других. Группа эта стала известна под именем „Чайковцев“. Можно без преувеличения сказать, что входившие в этот кружок люди—цвет тогдашней молодежи: ум, талант, высокое умственное развитие, в сочетании с несокрушимой энергией и волей, нравственная красота, стойкость, ригоризм в личных и общественных отношениях,—таковы были Чайковцы. Ближайшей задачей их деятельности—была *подготовительная*, культурно-революционная работа среди интеллигентной молодежи—на первом плане и среди городских рабочих—на втором. И в этом смысле их надо считать *авангардом* революционного движения *семидесятых* годов. Они были дальновидны, эти чайковцы. Они говорили, что целесообразно, вредно, до поры и времени пускать в молодежь всякого рода подпольные прокламации и брошюры, как орудие выработки сознательных революционных элементов. В последнем смысле это не достигает цели: оно не столько будит работу мысли, сколько стимулирует чувство. Это, во 1-х. А во 2-х, оно нередко является поводом к тому, что молодые, неокрепшие еще, революционные силы вырываются преждевременно из рядов молодежи и попадают в тюрьму и ссылку. Надо действовать иначе, надо прежде всего использовать высокие научные, публицистические и литературные ценности, как отечественные, так и западно-европейские. Здесь, неизсякаемый источник знания и мысли. Это задание легко может быть осуществлено *практически*, оно легально, и обеспечивает полный успех задуманному делу,—делу выработки, сформирования сознательных революционных сил.

Раз это достигнуто, подпольная литература уже завершит начатое: слово воплотится в дело, мысль в волю, действие. Нужно отдать справедливость чайковцам, они справились со своей задачей. Выработан был стройный план действия, с строгим распределением функций и обязанностей между членами кружка. *Теоретики* занимались с молодежью и рабочими (с 1872 г.), составляя для них рефераты по разным отраслям знания. Из них, пропагандистов, выделилась подгруппа переводчиков с иностранных языков. Были переведены: Ланге, „Рабочий вопрос“, Консидеран „О Фурье“. Геккель—„Естественная история мироздания“ (Natürliche Schöpfungsgeschichte). К сожалению, книги эти не были пропущены цензурой. Я не могу здесь перечислить все сочинения (книги), выпущенные чайковца-

ми ¹⁾. Назову лишь „Азбуку социальных наук“ Флеровского, послужившую, между прочим, сильным толчком к особо рьяному преследованию „книжного дела“ и организаторов его. *Практики* организовали „книжное дело“, библиотеки как в столицах, так и в провинции; заводили сношения с издателями, книгопродавцами и представителями интеллигентного общества и завязывали другие нужные для дела связи. В 1872 г. чувствовалось уже близко стоящими к молодежи руководящими группами, что революционное настроение все сильнее и сильнее нарастает, ширится и углубляется и что вот-вот оно прорвется и выльется неудержимым потоком. То были уже первые шаги кануна революционного *паломничества* „в народ“. Надо было подумать о том, чтобы его урегулировать, направить в определенное русло. И чайковцам пришла мысль создать орган литературный, с социально-революционной программой, которая объединила бы все революционные силы и дала бы им лозунг. Такой орган можно было издавать только за-границей, а редактором такового мог быть только П. Л. Лавров, один из самых любимых учителей тогдашней молодежи. С этой целью был послан в Цюрих Натансон в 1872 г. Натансон передавал мне впоследствии, что переговоры с Лавровым окончились вполне удачно, что выработана была программа органа и что журнал, под редакцией самого Лаврова, должен был появиться в начале 1873 года. Остановки за средетвами и подходящими сотрудниками. Натансон спешил вернуться на родину, чтобы устроить и это последнее.

Но в России его ждало уже недреманное око 3-го отделения, которое сторожило и выслеживало его, как „самого опасного человека“: и он в том же 1872 году был выслан административно в Шенкурск (Архангельской губ.) За ним последовала его жена, Ольга Александровна Шлейснер, старый друг-товарищ по кружку Чайковцев. В ссылке Натансон прежде всего занялся пополнением своих знаний. Временами он посылал товарищам письма, в которых сильно и выпукло вырисовывалась его тогдашнее мироощущение и миропонимание. Он готовится высоко держать знамя революционной борьбы, он зовет к этому и товарищей. Он страстно ищет законченного синтеза теоретического и практического мышления, — по тогдашнему это значило — доктрины, концепции, по настоящему — идеологии. Это действительно необходимо, без этого немислим широкий размах революционного движения, немислимо теоретическое и практическое углубление его. „Азбука социальных наук“, как лично передавал мне Натансон, не удовлетворяла его: она, правда, будит мысль, но слишком расплывчата, конфузна и несколько сумбурна. Не такая книга нужна. Натансон говорил это с огорчением, так как он относился тепло к Флеровскому, как к вечному протестанту и неугомонному, беспокойному борцу, всю жизнь свою проведшему в тюрьмах, этапах и ссылках. Мы читали письма Натансона с увлечением, они были для нас *mento vivere*, а жить — значило для нас — бороться.

Вернулся Натансон из ссылки, — это была *первая* его ссылка, — в 1875 году. В виде „опыта“, он сначала был переведен в г. Бобров (Воронежской губ.), а потом благодаря нестойчивым ходатайствам

¹⁾ См. мою книжку „Земля и Воля 70-х годов. Издание „Русской Исторической Библиотеки“ № 19 1907 г. Здесь в 3 главе подробно указаны все книги, выпущенные чайковцами.

тестя его, поручика Шлейснера, Натансона перевели в Финляндию, „под строжайший надзор полиции“ и за поручительством его тестя. Это собственно было *продолжение* ссылки, но в смягченной форме. Любопытная черта тогдашних административных порядков. Финляндские власти, получив предписание 3-го отделения строго следить за Натансоном, чтобы он никуда без ведома и разрешения властей не отлучался, наотрез отказались было принять Натансона: с этим „опасным“—де человеком только неприятности наживешь. Но Натансон все таки был „водворен“. Но удержи-ка орла в клетке! Натансон исчез вскоре—и след его протыл. Его ищут с тревогой власти по всем весям и городам нашей необъятной русской земли, его нет, как нет. А он тем временем делал генеральный смотр всем нашим революционным силам, уцелевшим после разгрома 1874 года, собирал эти силы, сплачивал их и построил в зиму 1876—77 года „Общество Северных Народников“, принявшее в 1878 году название общества „Земля и Воля“. И это была кульминационная точка практического творчества Натансона. Выше этого он, по крайнему моему разумению, не подытался уже. Правда, он продолжал неутомимо работать и строить, но это уже были рутинные, навязанные, направляемые опытной рукой. В это именно время, т. е. в 1876—77 годах я и познакомился лично с Натансоном. В числе делегатов, посланных в Петербург от ростовско-харьковского кружка, для окончательных переговоров с кружком Натансона, находился и я.

На другой день нашего приезда в Петербург, Натансон посетил нас на нашей конспиративной квартире, на Бассейной. Вошел мужчина выше среднего роста, шатен, небольшая шелковистая борода, высокий белый, философский лоб, карие, живые, умные, пронизательные глаза, в общем—фигура импонирующая. Впрочем, первое произведение на меня впечатление было не совсем благоприятное: коробило меня, что слишком щупает глазами своего собеседника. „Кто это?“—спросил я тихо сидящего около меня Осинского. „Натансон!“ был ответ. Я взглянул на него раз-другой, поговорил—и неприятное мгновенное впечатление как рукой сняло. Не долго он у нас оставался, быстро поднялся и сказал: „Ну, прошу вас к себе на учредительное совещание. Работы много, много...“. Он сказал это таким тоном, словно мы уже сговорились и приходится лишь все закрепить делом. Вечером мы собрались. Передаю лишь окончательный результат того ночного совещания—*учредительного*. Принята программа и тактика. Во главе поставлена *агитация* среди народа („бунт“, откуда популярная кличка наша „северные бунтари“), рабочих и молодежи. Принят устав общества и форма строения его—*строго централизованная*. Утвержден наконец заранее выработанный уже план ближайших работ и распределение функций между членами общества. Общество конструировалось!). Мы крепко пожали друг другу руки—как бы этой внешней формой закрепляя заключение товарищеского союза. Разошлись за полночь бодрые, полные надежд.

Я задержался в Петербурге еще на некоторое время и переселился на квартиру Натансона, в Лештуковом пер. Натансон работал буквально день и ночь. Он не знал усталости. Подобно Лермонтовскому Мцыри, „знал одной лишь думы власть, одну лишь пламенную

*) Подробности см. в моей книге: „Земля и Воля“, 70-х годов, стр. 94—101. Издание „Русской Исторической Библиотеки“ № 19. 1907 года.

страсть": этой думой было счастье народа, этой страстью была борьба за его освобождение. Таким я узнал Натансона в 1877 году. И меня он завоевал,—как завоевал и всех нас, товарищей его. И делалось это само собою. Он обладал удивительным чутьем организатора: тонко улавливал мнения и настроения окружающих и перевоплощал их в живое дело. *Собственным его идейное творчество*, как таковое, являлось лишь *синтезом коллективной мысли его товарищей*—в частности и окружающих его единомышленников—в целом. В итоге: он был глашатай и зодчий революционных стремлений, идей и революционных заданий данного момента. Но злой судьбе было угодно, чтобы как раз в тот момент, когда наше общество твердо стало уже на ноги, Натансон был вырван из нашей среды, брошен в Петропавловскую крепость, где просидел 2½ года—с мая 1877 года до ноября 1879 года,—когда его перевезли в В. Волочек, а оттуда он пошел в ссылку в Восточную Сибирь, в г. Верхоленск, где и был водворен. Но и в Верхоленске „божьей милостью“ Ш-е отделение не давало Натансону покоя: он переведен был в конце 1881 г. в Якутскую область, в самый отдаленный и гиблый улус,—в Багаянтайский, Якутск. окр. Вернулся он в Россию лишь в 1889 году. Около 12 лет подневольного прозябания! 12 годов самой лучшей поры жизни вырвано у Натансона!.. В Багаянтайском улусе—передавал мне Натансон—ему жилось в первое время так безысходно тоскливо, что он, этот железный человек, впал было в отчаяние... Но это была лишь временная, скоротечная аберация светлого крепкого духа. Он востропнулся и скоро нашел себя. Его удивительная способность ориентироваться в среде новых обстоятельств и окружающих людей вынесла его из мрака на великий простор жизни. Он быстро научился говорить по якутски, что, само собою, сблизило его с якутами. Он вошел в личные и общественные их интересы, при случае помогал им своими советами и, таким образом, его стражники превратились в самых преданных ему людей. Они открывают ему, что в одном тоже диком и забытом Богом и добрыми людьми „наслеге“ (это—часть улуса, как деревня—часть волости) живет такой же „нюча“ (русский), как он, Натансон, что за этим „нюча“ тоже приказано строго-настрого смотреть.

Если „улахан тайон“ (большой господин), т. е. Натансон, желает, то они готовы привести „нючу“. И вот во едину от суббот к Натансону привезли „нючу“. Какая радость! „Нюча“ оказался рабочим Алексеем Петерсоном,—старым товарищем Натансона еще по кружку чайковцев. Петерсон погостил у него некоторое время, а потом и совсем переселился к нему. И в темную, как склеп, жизнь Натансона блеснул луч света. Через полгода приблизительно Натансона переводят в Багурский улус. Там уже „жили-были“ многие хорошие товарищи—и административные и бывшие каторжане. Между прочим, там же были землепользователи Н. С. Тютчев и И. Л. Линева. Натансона поселили в наслег в 25—30 верстах от слободы Амга, где уже жили административные В. Г. Короленко, рабочий Ромась и ссыльно-поселенец долгушинец В. И. Папин. Целую зиму и часть весны Натансон прожил не в своем наслеге, а на Чуронче, где в близости жили Тютчев и Линева и некоторые каракововцы. Вскоре на Чурончу добровольно прибыла В. И. Александрова (по процессу „50“), с которой Натансон и обвенчался.

Вслед за этим Натансоны перебрались в свой наслег. Я же в то время жил в с. Усть-Майском, в 200 вер. от Амги. Неожиданно по-

лучаю записку:— „Дорогой Осип, не тужи, скоро увидимся, обнимает тебя твой Марк.“ Я вскочил: Марк! это его характерный размашистый почерк. Я все время не находил себе места от радости. Вся прожитая мною в „Земле и Воле“ жизнь моя,—лучшая полоса моей жизни,—оживла в памяти моей, оживла выпукло, красочно,—ни дать, ни взять—грёза на яву или галлюцинация... Ждал с нетерпением дальнейших разъяснений. Но Натансон был скуп на писание и, вместо письма от него, в одно прекрасное весеннее утро является нарочный из Якутска с „гумагой“ (бумагой) от губернатора: перевести меня немедленно в слободу Амгу. Я—в Амге. Меня первый встретил Натансон. Горячая встреча. Посмотрел на него любовно: полуголый, точеный череп, большая посеребренная голова, мужественная осанка, те же неотразимо прекрасные глаза. Тот же, но возмужалый, окрепший, утвердившийся окончательно и физически и духовно. Опускаю интимные наши разговоры о дорогих нам телях,—о Софье Перовской, Ольге Натансон, Лизогубе, Осинском, Квятковском... Я расскажу здесь о том, что особенно меня занимало: о революционных взглядах Натансона—как они постепенно развёртывались пред мною, не только из интимных наших бесед, с глаза на глаз, но и публично—из обмена мыслей с нашими товарищами по ссылке, приезжавшим к нам в Амгу, куда впоследствии окончательно переселились Натансоны. Скажу уже попутно, что Натансоны попали в Амгу после того, как они просидели в Якутской тюрьме с полгода за попытку бежать (собирались бежать Натансоны, Тютчев, рабочий Федоров и я). Попытка не удалась вследствие болтливости и небрежности уголовного поселенца, предложившего нам свои услуги. Поселенец, чтобы искупить свою тяжелую вину перед нами, поджег здание, где хранилось следственное дело со многими вещественными уликами. Благодаря этому, дело о побеге было „прекращено производством“—и Натансоны попали в Амгу. Вот с этого то-времени к нам в Амгу и потянулись товарищи непрерывно,—кто в одиночку и парами, а то группами в 10—15 человек. Гостили у нас по несколько дней подряд. Эти периодические съезды имели для нас, ссыльных, громадное революционно-воспитательное значение: они отвлекали нас от серых, докучливых будней и концентрировали наше внимание на высших интересах. Эти „асамблеи“ заменяли нам семью: тут мы находили отдых, мир, отраду душе; тут мы делились своими мыслями, чаяниями и стремлениями, проверяя себя, черпая силу, поддержку в предстоящей многим из нас долгой еще жизни в неволе. Тут же выступали мы с первыми своими литературными опытами. Короленко прочел нам „Сон Макара“ и „Соколица“, Серошевский—свои первые якутские очерки, Виташевский познакомил нас с своими интересными записками по обычному праву. Я читал свои „Воспоминания“ об обществе „Земля и Воля“. Натансон дополнял их своими важными указаниями. Среди нас Натансон был живым хранителем революционных традиций, живым аккумулятором революционных настроений, дел и предприятий. В старину были такие певцы, трубадуры, баяны и мудрые старики, воспевавшие и передававшие от поколения к поколению подвиги „героев“. Натансона слушали с большим интересом, ибо он знал то, чего другие или совсем не знали, или знали лишь из вторых рук. Он все освещал с определенной твердой точки зрения: слышалась прямота, не знающая уступок, слышалась твердость, не терпящая уклонений в сторону. От частных вопросов, как водится, переходили к общим: поднимались

вопросы „идеологии“, „программы и тактики“ (тогда мы этих терминов не употребляли еще, а говорили: „доктрина“, „учение“, „методы и приемы борьбы“.) Много времени было потрачено, много копий поломано при спорах о роли и значении в революционной борьбе *сектантства*, современной *общины*, *капитализма* у нас в России. Ведь по всем этим вопросам появились тогда капитальные исследования. Но особенно страстно дебатировались злободневные, так сказать, вопросы: вопрос о терроре, *систематическом* терроре и о *политической борьбе*, в самом широком объеме этого слова. Ведь она, эта политическая борьба, выдвинута тогда, как *реальный* элемент, на первый план революционного действия. Думаю, что буду совершенно объективен, если сформулирую окончательно вывод из нашего многократного обмена мыслей так: в нашей старой, *народнической бунтарской* и *аполитичной* идеологии произошел решительный сдвиг в сторону *народовольчества*, с неизбежными в таких случаях отклонениями и оттенками, — не существенного, впрочем, характера. Это относится исключительно к „старикам“: Натансону, Тютчеву, Линеву, пишущему эти строки, к некоторым каракозовцам и многим, многим другим. „Молодые“ же, которые только что появились у нас в Якутии, как, например, Подбельский и Коган-Бернштейн, пылали, само собою, чистым, ничем не прикрашенным, идеальным народовольчеством. Они не нуждались ни в каких сдвигах и высоко держали знамя народовольчества.

Один вслед за другим, сошли в могилу двое из самых крупных представителей революционного движения семидесятых годов: Г. В. Плеханов и М. А. Натансон. *Первый*—мыслитель, талантливый публицист, пылкий оратор и трибун, впоследствии—основоположник Р. С. Д. Р. П., выдающийся знаток марксизма и социалистического движения на Западе, человек всю жизнь положивший на то, чтобы выработать в своих современниках твердое, ясное понимание окружающей их современной действительности. Он ушел от нас, не сказав еще своего последнего слова, он мог жить и должен был жить...

Второй—практик, организатор и искусный строитель, вечный и неутомимый „собирающий русской земли“, сплачивающий и объединяющий революционные силы. Натансон и революционная борьба—синонимы: он не мог жить без революционной борьбы и она сделалась плотью и кровью его. *Пятьдесят* ровно лет стоял он стойко на славном посту. Он совершил, повидимому, полный цикл своего революционного существования. Он ушел во-время. Но оба они—и Плеханов, и Натансон,—каждый на свой манер,—вносили свое имя в историю революционного движения в России, оба отдали революции свою жизнь. И красивая то была жизнь. И пойду я на их могилы и положу я—не венок, а напишу на могильной их плите следующие слова Гофмана:—„Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и то же изображение. Другие—похожи на медали, выбиваемые только для данного случая“.

Плеханов и Натансон—„медали“. И надо носить их не на груди, а в сердце, как *memento vivere*, как неумирающую память о вечной борьбе—*революционной борьбе*...

О. В. Антекман.

12 марта 1920 г.
Петербург.